

МЕТРО
СЕРВИС ТАКЖЕ В СЕТЕ

Алексей
ТОЛСТОЙ
ПОХОЖДЕНИЯ
НЕВЗОРОВА,
ИЛИ
ИБИКУС



ЛАНЬС ДРЕСС
Санкт-Петербург



Алексей Николаевич Толстой

Похождения

Невзорова, или Ибикус

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143099

Похождения Невзорова, или Ибикус: Лимбус Пресс; Москва; 2001

ISBN 5-8370-0133-6

Аннотация

Увлекательно описанные приключения скромного служащего, волею судеб оказавшегося в водовороте Гражданской войны: карты, роковые женщины, наркотики, хитроумные торговые операции, мистика... С.И.Невзоров «... поджидает случай, чтобы произвести короткую и удачную операцию с высоковалютным товаром... и бежать в Европу». «Россия – место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки... Нужно торопиться рвануть и свой кусок...». Повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924) составляет центральную часть в цикле произведений о белой эмиграции.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	59
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	108
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	149

Алексей Николаевич Толстой Похождения Невзорова, или Ибикус ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

– Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу – стучат кузнецы. Гляжу – табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные – смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут асе помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь, – и – хвать за руку: – Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я – цыганке: «Сейчас позову городского,

отдай деньги», Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок, – она говорит, – не серчай, а то вот что тебе станет, – и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки. – А добрый будешь, золотой будешь – всегда будет так», – задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел, – и денег жалко, и крючков ее боюсь, не ухажу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю, – время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого – только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович, – нужно предварить читателя, – служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так – со второго двора, с Мещанской улицы.

– А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба, – повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров, – сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстился туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

– Виноват, вы обмишурились, я – Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозвищу Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой – праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же, – судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать, – пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти,

или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат – туманный, петербургский, раздражающий воображение, – привели Семёна Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини – длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы рыжеватые и в теле. Граф – непременно с орлиными глазами. Князь – помягче, с бородкой. Светлейшие – как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил файф-о-клок. Лакеи вно-

сят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный, – просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: захали в пропасть, перевернулись кверху колесами, – война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. По-знакомишься с приятным человеком, – хватать-похватать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам снится: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной наша-

тырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахара, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг – дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же – дзынь! – зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

– Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

– На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

– Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами – про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивано-

вича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печи.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

– На Екатерингофском канале лавошники околodoшного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово – Революция – взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стучало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стоя-

ла женщина удивительной красоты – темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

– Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» – «Здесь она». – «Брось, идем, ну ее к черту...» – «Ну, так она на другой лестнице...» – «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

– Я останусь... Не прогоните?

– Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

– Какой ужас! – сказала она и стащила с головы платок. – Не спрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не спрашивать. Она опять уставилась на него, – глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

– На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободрительных слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

– Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете – меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

– Простите, сударыня, я по обхождению, по одеже вижу, что вы аристократка.

– Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно – почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, – гляжу – окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостью на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

– Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване – rrrrrr – разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

– Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете. – Она проворно повернулась лицом в подушку. – Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять – мурашки, и кровь то обожжет,

то дернет морозом.

– Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный, – проговорила гостья в подушку, – у другого бы сердце разорвалось в клочки – глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха – голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

– Сударыня, разрешите – чаю вскипячу.

– Ножки, ножки замерзли, – комариным голосом проплакала она, – вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитеeee.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте, – он не видел, но почувствовал это, – возник и стоял голый череп Ибикус.

– Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу, – ужасно жалобно проговорила гостья, – а тут еще царство погибает.

– Я всей душой готов утешить. Если не зябко – разрешите, ручку поцелую.

– Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг риск-

нул – стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения – неделю, другую, месяц. В комод, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь – дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул – прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав, – болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны, – все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в по-

ловодье.

«Тут-то и ловить счастье, – раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь, – голыми руками, за бесценок – бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный – толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

– У меня вшей – тысячи под рубашкой, я понимаю – как воевать!

– Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

– Землица-то, земляца – чья она? – кричал третий.

Господин тарасил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

– Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

– Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на фэйф-о-клоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини, – дух захватит. Клянусь богом – видеть, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард – камер-юнкер, но роптать нечего – пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибежала ночью, оставила на память – и смех и грех – часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь – усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи, – вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства – карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивано-

вичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

– Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот – кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около – седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

– Ах, вы ждете денег, – сказал он рассеянно и стал шарить

ста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович взгляделся, подошел к лавке; странно – дверь оказалась приоткрытой, внутри – свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы, – все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг – обыск. Боязно и днем, на службе:

вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха, – Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал – тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках – принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском – купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар – «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жилет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляп-

ки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек – где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах, – миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш, – остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатými в кулаке гвоздиками.

«И это – жизнь, – раздумывал Семен Иванович, – бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но – все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений – газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в ка-

фе «Бом» на Тверской, где сживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, – видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы, – думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, – нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль – не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык – как мороженный, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал – необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полужакрыты, бледная, под глазами тени. Ее спросят, – не обращившись, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженная, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решил, наконец, на давно уже

им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное, – охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сься, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза, – еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула Футуротворчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение – всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, – как это понял Семен Иванович, – но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, амери-

канские. «Здесь и бумажник выдернут – не успеешь моргнуть», – подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер – косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами, – вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

– Эту словесность каждый день даром слышу.

Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

– Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет, – смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила:

– Кто вы такой?

– Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

– Вы не писатель?

– Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее

столлик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче – то есть из чистого коньяку – и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девице, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лаял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребьячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась, – уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

– Едемте ко мне, – неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно подо двинулась к столику:

– Это что еще такое? – и ударила кулачком по столу. – Что хочу – то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся

рукой, коричневой от табаку.

– Ненавижу, – прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорила в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» – выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату, – граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

– Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок, – книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зу-

бочистку порошку и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще – втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрывает глаза:

– Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове ясно. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

– Мы, графы Невзоровы, – начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом, – мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови, – и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки – на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня – чтобы никаких революций!.. Бунтовать не допускается, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой – только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед дива-

ном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень – корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну», – бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день, – неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жест-

кой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза – заплаканные, полузакрытые. Рот – резко изогнутый, соприкасающийся по середине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

– Опять он стоит, тьфу, – бормотал Невзоров и из суеве- рия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска буд- то все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумаж- ки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, слад- ких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про челове- ка-маску. Неожиданно она ответила:

– Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных ули- цах было жутко – пусто, раздавались выстрелы. Алла Гри- горьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было вы- пить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом, – встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасе-

ния и еще другой – Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого – неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» – «Прошу не волновать дам!» – кричал председатель Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне». – «Не Викжель, а Викжедор [Всероссийский исполнительный комитет железных дорог], и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику», – басили из-за печки. «Господа, – надрывался Человеков, – прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двустольным ружьем сказали:

– Если дорожите жизнью, – советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух

– ах, – и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

– Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю, – сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

– Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечи, зевая читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожара, – врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных

очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко. Поширивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

– Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясающая земля, пронесился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался спросо-

нок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо – он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась, – не напудрилась, не подмазалась, – положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

– Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

– Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку», – и ушла через черный ход.

За дверью хрипловатый веселый голос спросил:

– Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху, – череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

– Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге, – сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок, – ну, давайте знакомиться: Ртищев, – он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул, – а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирал-

ся две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я – игрок, извольте осведомиться. А жаль – Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил – к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

– Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

– Позвольте, что это за разговор!

– Таких графов сроду и не было. Вы – авантюрист. Не подсакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

– Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это:

– Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит – четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дре-

безжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он – ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

– Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки, – только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? – спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие. – Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

– Может быть.

– И это занятие. Изо всего можно сделать себе занятие – был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой, – люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

– Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров – подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты

– осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегда таи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игорной комнате появился косматый человек – бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

– Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

– Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

– Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от

ареста, – он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвешанное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна, – думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи, – туда же – бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? – свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор – вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком – вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте

имелось удостоверение, – приобретенное на Сухаревке, – в том, что он, С.И.Невзоров, – артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках началась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоев. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко:

проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске, – человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

– Подойдите-ка сюда, товарищ, – поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки. – Что это у вас там?

– Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

– Как?

– Видите ли, мы – харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

– Я спрашиваю – это все – это ваш багаж?

– Видите ли, пока мы гостили у тети, – у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кигетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

– Не пропущу, – сказал он, пуская дым из ноздрей.

Господин улыбался совсем уже по-детски.

– Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя, – тетя в Москве уплотнена.

– Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

– Кто я такой? Взгляните на меня, – господин стал совсем как ясное солнце, – хотите взглянуть, что я везу? – Он крикнул ясене: – Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но – появились дети, опустился, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

– А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

– Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: недалеко прошли два солдата, и между ними – человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождая небольшое время, Семен Иванович пополз сре-

ди репейников и полыни к оврагу, пролежавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним – пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся, – спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» – крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу – к большевикам – стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессилевшая дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Смотрите, дети, – булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили – тяжело, вразвалку – колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна – черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая – сухонькая – в огромной шляпе с перьями. «Аристократки», – решил он и, по-столичному при-

подняв соломенный картузик, сказал: – Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» – повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник – тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять – Ибикус, фу, черт его возьми!» – пьяными мозгами подумал де Незор.

– А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем, – картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе, – видимо, хорошо его зная, – попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко», – сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

– Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

– Не знаю... Подумаю...

– Сильно пострадали от революции?

– Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены.

Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю – выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

– Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло, – говорил Платон Платонович. – Так вы любитель лошадей, граф?

– Странный вопрос.

– Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти, – я вам продам имение: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка – на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

– Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства, – ну, что ж, я готов», – бормотал он, плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

– Поздненько, – сказал он, – не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи», – сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм», – повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крикнул с досадой: «Здесь – зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Убе-

рем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня – уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

– Мужики у нас добродушнейшие, – говорил Платон Платонович, – прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и безглаголиво глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор», – подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

– Дорого мне будет стоять ремонт, выгоды не вижу, – сказал он сухо, – но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значи-

тельное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора, – паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове – украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чуть: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны, – судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» – думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний, – судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пу-

ти необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно – советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о земле, – странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракетами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков, – в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

– Вот хотя бы немцы, – есть у них чему поучиться.

Весь мир их не может победить. А почему? – порядок, закон. Что мое, то мое, что твое – твое. У них насчет собствен-

ности – священо.

– Это верно, – отвечали мужики. – Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

– Немцы аккурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати – прутьями. Вот – почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

– А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

– Барин четыре службы в городе имеет, захотел – деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется – вот будет беда. – Он засмеялся. Мужики молчали. – Десять лет будем воевать, вот штука-то? А ты – немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе, – солдатский картуз – на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома – посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружья-

ми обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе, – старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги, – свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полубморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат, – они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на

Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменял маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать – преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непрерываемая стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

– Которые жида – выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десяток животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся – раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало, – одни говорили, что разбежалось, другие – что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, куда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная

скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясицу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

– Опять, пожалуйста, гости дорогие, – сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль. – Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») – Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидел, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги – тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых,

с вихрами из-под картузов, атаманца – держали винтовки на изготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

– Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички, – сказал вполголоса самогонщик, – деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков – и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли, – только блестели глаза у них и зубы.

– Шесть ведер самогону, посуда наша, – сказал один, другой кинул на стол деньги. – А ты что за человек? – спросил он Невзорова.

– Я бухгалтер.

– Это как так – бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет – против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

– Эге, – сказал первый, – давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначей. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик вы-

носил посудины с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:

– Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крикнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь, – в два счета голову шашкой прочь – понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять – атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек – залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила – и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью, – даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали кост-

ры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу смотреть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта, – в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт, – шли на фронт, на убой, – те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон – бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, выросстал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин – и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

– Ты по городам болтался, – чепуху, наверно, про нас пишут? – спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) – То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок – я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть

такая книжка: «Анархизм». Читал?

– Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

– Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград, – ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» – крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

– За-а-а-пря-гать! – спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей – без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади – летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та, – казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел, – из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вождей, сдунуло с телеги.

Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники, – махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась, – и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя, – цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти – бессознательно – Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал: семь штук, – рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце, поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Что за чудо – Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту, – он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем, – он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь – и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя, – важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу, – он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». – «Да что вы говорите?» – «Да уж будьте покойны – сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на послед-

ние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами вырастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове, – снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки – худые, рослые, англазированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки – русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженные артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах – пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками, – идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом

проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами, – ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители, – хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали – подозрительные пески Пересыпи, направо – длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков – в защитных юбочках и колпаках с кистями, – выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей, – утвер-

ждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря – сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров, уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение – смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению, – будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов, – и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

... "Сто бидонов масла..." – «Не крутите мне голову с аспирином». – «Продам доллары, куплю доллары». – «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» – «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» – «Продам колокольчики». – «Слушайте, колоссальная новость: боль-

шевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов – только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями – продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались, – вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десятков дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапиды Навзараки, – Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удоволь-

ствия.

Россия – место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не лясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими деньгами, – он это знал по кинематографу, – жизнь – сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович встал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках, – оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему; то на улице, оглянешься, – оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно – лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми

голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом, – что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегают до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

– Мерлушкой интересуетесь?

– Почему? – небрежно спросил Невзоров.

– Сто карбованцев шкурка.

– Товар или только накладная?

– Какая вам разница?

– Тогда идите к черту, – сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

– Скажите, – спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью, – скажите, а _сапожным кремом_ вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну, – почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно, – можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нерв-

ности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так – привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и – пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы это мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и – в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка – сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и _даже тараканов_... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно», – подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна Швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя

ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь, ты, рысак», – подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старший Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович потел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переверочены.

Он подумал: кража! – и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом – желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг», – кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше – кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась,

зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окне литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся, – ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов – Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

– Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой, – закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу, – садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются – какую мы развернем игру. Господа, – он схватил направо и налево от себя журналистов, – да посмотрите вы на графа – конфетка, а не человек. Что пережили вместе – волосы дыбом. Первое знакомство – под октябрьскими пушками, – дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

– Нет, – сказал Невзоров суховато, – с клубом я связываться не хочу, – уволь.

– Вот тебе – лук, чеснок. Ты что же – разбогател?

– Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

– Не веришь? Так, так, так, – сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

– Так, так, так, – повторил Ртищев, – а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? – Он размахнул руками, журналисты подались в стороны. – Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек, – французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын, – тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами, – сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты – большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

– Ничего я не большевик, – ответил Невзоров, – если уж на то пошло, я – анархист, в смысле идейном... Я – за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе, – пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он

поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

– Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном*?

Через несколько минут, на углу Дерibasовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

– Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? – спросил Невзоров. – По всей видимости, этот каракуль – казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

– Что значит – товар казенный? На нем написано, что он – казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец, – чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев, – тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

– Сто карбованцев шкурка?

– Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев, – чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтораста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и – бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда назавтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом, – но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

– Ты что же – прямо сейчас в Испанию?

– Наш центр в Мадриде. Там – проверка мандата.

– Не понимаю тебя, Саша... Все это – ужасно глупо, романтика какая-то.

– Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо – смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

– Нет, мне не завидно. Здесь – грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра – виселица. А вот – поди же ты – не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

– Не для наслаждения еду, – сам знаешь.

– Знаю, и все-таки это – голая романтика... Хотя ты и собираешься...

– Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то, – тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой

сказал:

– Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

– Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот – я еще понимаю: драка у Никитских ворот, – тра-та-та. А потом – пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас – личность, красота борьбы, взрыв.

– Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм – как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

– Нас много, брат, – больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слежка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с _сапожным кремом_...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

– Что за люди?

– Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это – варта» [гетманская милиция]. Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потасили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека, – он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втокнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

– Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять, – спросил у него Невзоров.

– А вот в зубы дам – поймешь.

– Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

– Сволочи, – сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса, – где-то он видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно – вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

– Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

– А! Невзоров!

– Виноват, – поспешно заявил Семен Иванович, – настоящая моя фамилия Семилapid Навзараки. Невзоров – это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

– Поймешь, – сказал человек у стола, – у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Во-

шел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

– Кто здесь – именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник, – видимо, из бывших жандармских, – задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втокнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только неясно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

– В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся, – с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд вверх головы Семена Ивановича, сказал отдельно:

– Имя, отчество, фамилия?

– Навзараки, Семилапид, – с трудом ответил Невзоров.

– Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство?

Мы же знаем, что вы не Семилапид Навзараки. – И вдруг глаза полковника – яростные, выпрыгивающие – воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

– Какого именно рода товар изволите продавать?

– Каракуль.

– Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

– Какой там сапожный крем! – завизжал Невзоров. – Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

– Мерси. – Положил перо и закурил новую пушку. – Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

– Гм, прекраснейшая работа, – это фальшивомонетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с, – это все ваши документы?

– За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

– Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

– О чем вы?.. На какую работу?..

– Я спрашиваю, – тут брови полковника слегка сдвинулись, – где мандат? Соккрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

– Ваше превосходительство, богом клянусь – вы принимаете меня за кого-то другого.

– Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте – по-английски, по-чести, начистоту.

– Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я – Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рас-

сказа все сильнее хмурился, полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

– Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

– Штучка оказалась хитрая.

– Прикажете отвести его в *операционную*, господин полковник?

Изо всего непонятого фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть – темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ошупывали

лицо. Когда он снова стал различать звуки, – Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

– И сегодня он ничего не добьется.

– Ты терпи, слышишь...

– А если он по делу Шамборена опять станет пытаться, – говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложённое кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица, – нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

– Меня допрашивали насчет сапожного крема...

– Анархист? – спросил левый из сидевших у стены.

– Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто – мелкий спекулянт.

– Цыпленок пареный, – сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

– Растолкуйте мне, хоть намек дайте, – что это за крем такой, за что они меня мучат?..

– Пытать будут, – сказал другой, бородатый.

– Ой! Не виноват! Нельзя меня пытаться. За что пытаться? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, указал ему:

– Французская контрразведка получила сведения: через

Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

– Имя? имя его? как его зовут? – уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет яснил между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Боро-

датый крикнул ему:

– Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложеного кирпичами окна, от теней, бросааемых подусниками, – львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему, – согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

– Скажешь, скажешь, – повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

– Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели, – голова закинута, рыжая боро-

да – задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся, – что сейчас будет?

– Ну-с, господин коммунист, – полковник поманил его пальцем, – поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать – терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хохо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ, – у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

– Молчать! – закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

– Следующего! – крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами, – взглянул в зрачки.

– Я все вспомнил, – пролепетал он, – не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти – двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, выта-

щила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола:

– Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках, – щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

– С одной стороны, вы рискуете быть повешенным, – сказал он вежливо, – с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

– Согласен, – прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку. – Что я должен сделать для этого?

– Превосходно. Моя фамилия – Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати, – каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

– Вы хотите сказать, что Шамборен...

– Вы угадали, – удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту – тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это, – Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету, – теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

– Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный дея-

тель или – артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России, – здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка – мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? – они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить – только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта – высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы – государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них – дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не

успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда – штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек – это сыщик. Вы должны быть *посвящены*. Я это вам устрою. Мы, так сказать, все *кровные* братья. А кроме того, предупреждаю: полковник – человек жуткий, – если попытаетесь от нас теперь отвязаться – не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красным огоньками поплавок, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» – вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавок и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всех сил побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в

этот вечер.

"А что ж, – раздумывал Семен Иванович, – может быть, Ливеровский и прав и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России, – в руке кусок гнилья. старый мир – труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж – гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда – гм! А люди – мошенники, он прав, – бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое *испытание* болтает Ливеровский? А между прочим, плевать, – не удивишь".

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович" перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире, – в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтиновый пробор и шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво, бис!» – закричали ото всех столов. «За Францию!» – и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с

эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции», – и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» – закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

– О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

– Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные – напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете, – а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с на-

шей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались – так и растеряли друг друга.

– А скажите, – спросил Ливеровский, – вы не знаете, слушаем, где сейчас такой актер – Шамборен?

– Он здесь, – лицо молодой женщины стало нежным от улыбки, – но он же не актер – художник. Ну, он такой чудный.

– Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

– И опять все то нее, – сказала она, – вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

– Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

– Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять, – она поднялась, – все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими – к ве-

шалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденский лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулочка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее, – она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

– Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

– Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулочке, сморкалась.

– Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи, – сказал Ливеровский, – я это понял в ресторане. Но – птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулочком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый, – ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался – московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» – портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти.

Она вцепилась ногтями ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу, – исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

– Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал – не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

– У кого именно?

– Ах, ну у этого – журналиста.

– Бритый, ходит с трубкой?

– Ну да, терпеть его не могу.

– Не можете ли объяснить, – спросил он еще, – почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за

Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия, – так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топор-

ков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штилеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодущия.

Эх, благодущие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнате, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофеек, мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь, – на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду, – подумал он, – уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо прохо-

дят тихие люди».

– Дома! Ну, так и есть – кофе пьет! – над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыв окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения. – Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

– Поймали?

– Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению, – один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо – в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было – красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. "Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более *уплотняется* гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу..." Теперь поняли цензурный пропуск?

Это – длина боя судовых орудий – восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

– «Наступают решительные дни борьбы, – продолжал читать Ливеровский. – Французское верховное командование не только _во что бы то ни стало_ решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

– Так, – Ливеровский швырнул газету под диван, – решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация, – я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена – ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский – давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам извест-

но, что вчера кабинет Клемансо пал...

– А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? – спросил Невзоров.

– Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение*.

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу, – там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжело навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник оборо-

ны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал», – дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не открывает. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

– Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

– Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели – Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив – апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабанил ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке, – у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!...» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, оцетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось

пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними – Шамборен в разодранной клочьями" блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним – рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

– Эти двое, карашо, – сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел за руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

– Этот француз – палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос – знаменитый Филька – григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы – шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу, – видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голо-

сом:

– Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

– Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

– А студено, – сказал он, – тельник промочило, недолго и застудиться. – Он открыл великолепные, белые зубы, но усмешка так и осталась на губах, – застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буюк с разбитым фонарем, – лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт – двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно

скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

– Будете работать наверху, мосье? – спросил он по-французски.

– Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо, – ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором. – Матрос идет первый, – сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

– Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

– Часы серебряные отошлите жене, – сказал он Ливеровскому, – не забудьте, пожалуйста. – И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французам.

– Живее, сволочь! – крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

– Не я, не я, это не я, ошибка! – и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос французам:

– Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел

на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена, – «иди, иди!..». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

– Стыдно, граф, – баском сверху прикрикнул ротмистр, – давайте кончать. – Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой, – француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

– Ах, боже мой, боже мой! – громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издали стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то

очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробежавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г. Ген. д'Ансельм

– Эвакуация! Эвакуация!.. – донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово – «эвакуация». Скажи – отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, – никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит – «спасайся, кто может». Но если вы – я говорю для примера – остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! – вас же и побьют в худшем случае.

А вот – не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация», – ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

- Что такое? Бежать? Опять?
- Отстаньте. Ничего не знаю.
- Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация – в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка – вот только что держали его

за руку – внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста – на страх – начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у паровой трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями, – ой, все полетело к чертям! – и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки, – вдруг хватил дельцову мадам ногами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуации. Человек вывертывается наизнанку как карман в штанах, – едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят – русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь – сидит на крыше вагона, на носу – треснувшее пенсне, за сутулыми плечами –

мешок, едет заведомо в Северную Африку, и – ничего себе, только борода развевается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших, – узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуации, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там,

покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде, – увоооозим за гранииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов, – груженные людьми и чемоданами, – уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

– Граждане, – кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа, – дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй, – хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях, – оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! – И он так и залился смехом.

– Господин офицер, – шумели у сходней, – да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов гру-

зите...

– Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блесками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой, или с немкой, француженкой – совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил, – в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех

отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это – ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения, – таковые данные весьмагодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетасили с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол – чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мгlistых сумерках невысокие берега Но-

вороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного-фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

– Вы возьмете на себя носовую часть, – говорил он, посмеиваясь, – я – кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних – всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компаниях – дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения – курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна, – вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранное вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе – это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстаёт, прикидывается разными мордами, – думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса, – доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше – то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я – сыщик, а еще немного – и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе – военный доктор.

– Не спится? – повернул он к Невзорову рябоватое, с клоч-

ком бородки, испитое лицо. – Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, подсевал папироску.

– Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте, Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломил голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь – царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, – свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы, – доктор хрустнул зубами, – Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благодостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов – президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она – свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж – где пуп земли, ясно? – и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы

и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

– Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению, – нет. Реестрики – сколько у кого взято займы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

– Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам – приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро – вот что я вам скажу – недобро. А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь, – спать не могу, – ох, не страшно бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

– Какие штуки сходят? – осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

– От кого я в восторге, так это от большевиков, – сказал он и сплюнул, – решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем – глядишь – через полгода и расчистят нам дорожку, – пожалуйста.

– А кому это – вам? – спросил Семен Иванович.

– Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевиков есть чему поучиться.

– Ну однако – вы слишком смело.

– Говорю – у них школу проходим, дядя. – И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на

палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках, и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

– Двадцать минут уж сидит, – говорилось в этой очереди.

– Больной какой-нибудь.

– Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

– Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

– Господин штабс-капитан, – постучали в дверку, – надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутылку с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

– Опять бобы. Это же возмутительно.

– Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

– А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

– Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

– А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

– Для спекулянтов. Одни жидаы в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

– Нужно верить – все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так, – быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка. – Наш физический мир – лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом

человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

– Гигантскими шагами, – за час – столетие, – мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция – акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны – исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар – наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облакачиваться, то так облакачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем

в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварьям. Они черпали огромными половниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам, – во все, что представляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные, каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы дей-

ствовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагромождены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий – почти все с женами и детьми.

– Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма, – говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне, – страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге, – мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

– Полгода, благодарю вас, – проговорили из темноты, из-под нар, – вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

– Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

– А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты, – так же, что ли, станете благодушествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды – бифштекс, – вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? –

пожалуйста. Японцам – Сахалин за помощь, англичанам – Кавказ, полякам – Смоленск, французам – Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

– Ну, уж извините – вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе – не торгаши, не циники, не подлецы.

– Эге!

– Ничего не – эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже – эге? А французская революция – это эге? А Паскаль, Ренан – эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

– Значит, одесская эвакуация тоже не «эге» по-вашему?

– Одесса – трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

– Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

– Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива – во сне даже вижу.

– А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

– Ах, боже мой, боже мой!..

– Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским, – помните его по Москве? Приезжаем – что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду – командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, Лев Плевако, именитое купечество, – все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его – мужичонка подслеповатый, и – речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это, – и развел руками под куполом, – не мое, все это ваше на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! – на четыреста персон.

– Неужели бесплатно?

– А как же иначе?

– Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

– Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

– Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики – это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

– До того воняет здесь, я просто не понимаю – чем.

– А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

– Что же – дальше повезут?

– Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

– Собаки-то при чем же?

– Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

– А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. На-доело в грязи жить.

– А что теперь в Париже носят?

– Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

– Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков

знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

– Это тебя-то? – спросил Щеглов.

– И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например – в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, – нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

– Жалко, тебя раньше не слушали.

– Вернись – теперь послушают.

– Сегодня что-то ты расхрабрился.

– Я всю ночь думал, представь себе, – сказал драгун, поправляя фуражку, – так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии – вот программа. А войдем в Москву – в первую голову – повесить разных там... Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеклом по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

– Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забегали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так, – подумал он, – про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так», – повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги паровой машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

– Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры – и я давал,

приходили эсдеки – и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие туры на колесах писали в этих газетах, – у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел – контрреволюционер.

– Кто мог думать, кто мог думать, – горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, – мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, – прямо походя. Нет, Россия – это скотный двор.

– Хуже. Бешеные скоты.

– Разбойники с большой дороги.

– Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими – в ракурсе – телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда, – едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину бо-

лее не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная – скажем – вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди, – дешевка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя, – даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы, – мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк, – войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова, – будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему Руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина, – сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам, – платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка, – с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой, – разожмешь одни чумазные пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та – гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит, – даже осунулась вся, – как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно – богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился, – хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице, – помню, помню, – мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал, – вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических фэйф-о-клоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако, встретились... Но припадать уж не могу, – далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамоч-

ки, – Семен Иванович задохнулся волнением, – подождите, недолго – все будет; и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое – Щеглов и астраханский драгун – и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно, – на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков, – почему-то подумал Семен Иванович, – но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники устали лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

– Что же долго думать, – позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе, – зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю», – думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суэта затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одиноким дьякон, сидя под мачтой, с душой раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

– Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:
– Ваше превосходительство, в перспективе – голодная

смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

– Уберетесь вы, я спрашиваю?

– Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство, – кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

– Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонями, видимо, сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

– Вот, убирайся к черту, а куда? – обратился он к Семену Ивановичу. – За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! – простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора – огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое

лицо.

– Пяти минут не дадут заснуть, – проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой, – разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

– И Высшему монархическому совету, – проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) – Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас несколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

– Террором? – прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

– Да, – коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечки упал ему на лицо, – это был тот самый красивый молодой человек с

синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

– Очень хорошо, – сказал он, – мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

– Моя фамилия Прилуков, – сказал молодой человек. – Если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

– Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

– Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом – обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: молчание. – Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза. – Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много

раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

– Достаточно, – проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в верхке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели – Ибикус?» – подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задрезало в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

– Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам сроку две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подошла Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

– Еще один брат по духу не спит, – заговорила она сонным голосом, – я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие роди-

ны. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам доверие. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди, – то есть и она в том числе и Семен Иванович, – жили на солнце в виде растений – головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера, со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароходного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила – все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пера.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево

проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула – минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

– Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

– Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

– Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.

– А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да – крест... Эх, проворонили...

– Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

– А говорят – турки все-таки страшная сволочь.

– Совершенно наоборот – благороднейшая нация.

– И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять – негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное месиво, торчать на вонючей палубе, что это – издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? – довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке, с золотыми дубовыми листья-

ми, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись – уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше – придет пароход Добровольного флота, – облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пера – хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфлей по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли на изготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах слышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел – рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негрятята – откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горячие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался бриллиантовыми огнями. До-

носились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спыхватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских, – сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда?

Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу – схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться – надежнее...

... "Ну, как я этого черта убивать стану, – думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе, – стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж – от самодурства, от злости, от бобов с салом – распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду..."

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних – носовом и кормовом – трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже – вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг – все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ во-

ды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными – жгутом – погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!...» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах – вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа, – думал он, несколько

стыдясь своих ног, – ну, не знали... Ай, ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

– Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

– Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться, – систематически доведут до конца... Это вам – Европа...

– Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

– Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

– Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

– Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно попахивало. «Этого вымыть – много надо мыла», – подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

– Вот свободный душ, вы первый или я? – спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо

поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно, – проговорил он насколько мог весело, – давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты – моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? – даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава, – одежда сселась, сморщилась, башмаки испеклись, – хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап – остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгрузившегося у

пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» – подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное – тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа – бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

– Господа! – взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы, – а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем – айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость, – и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длинейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяносташестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские – вялые

и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел – ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель, – клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под "огромными звездами, выдавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро – за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица, – в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол, – из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице, – единственном месте встреч и гулянья, – с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

– Графиня, как спали?

– Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

– Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала, – нет ли новостей?

– Окромья пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

– А когда в Константинополь?

– Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши, – зайдемте в кофейню.

– Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, – остатка от греческого погрома четырнадцатого года, – играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, виге, Венизелос» – утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

– Лидия Ивановна, как спали?

– Ну, оставьте, пожалуйста, мы еще не ложились.

– Все кутите?

– Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору – смотреть вид. Потом – купаться. Нет, право, здесь чудно.

– Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди – клопчик.

– Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри – золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами – ибикусами, – он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторож-

ность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.

– Дозволено все, господа, откройте форточки, – говаривал он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил, – и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

– Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа, – толковал он тому же офицерству. – Революция, пролетариат, власть Советов – одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше, – на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо – с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

– Верно, правильно, браво, главное – умно, – шумело офицерство, дымя папиросами.

– Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, по-

мешик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них – дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам – у себя в имение – из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают – Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал», – оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встре-

титься лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить – опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов, – они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единой борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные парходики – шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободран-

ных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем острове, в прошлом – развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня – стирка в ручной чашке истлевшего белья, на ужин – остатки кроличьей кошки, в минуту тишины – взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее – как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

– Верх цивилизации – роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное – предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула – прочное бидэ с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова, – здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, поглядывая на себя в стенное зеркало, – из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова ли-

цо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

– Аллах верды, бахчи, бачка, – сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на улочке было мало в этот час, – эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица», – подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску, – сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича, – и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно

следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ошипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность, – остаток варварства, – опасное качество

для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

– Ну, а теперь пожалуйста со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

– На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача – вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно – аристократы живут, – подумал Семен Иванович, – быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с по-

хмелья.

– Здравия желаю, – достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хрипловатым шепотом:

– Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

– Морду разобью.

– За что-с?

– Разобью морду – тогда узнаешь за что.

– Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

– У, сукин сын, дерьмо, – говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

– Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

– В первый раз вижу такое обращение. – Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и отдельно, как на морозе, проговорил:

– Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун

неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

– Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит целый день в номере, на прогулку выходит – где людно. Я бы с радостью с ним покончил...

– Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

– Ну, для чего же, господин Прилуков...

– Потрудитесь молчать. Вот револьвер. – Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол. – Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается – где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

– Миша, позволь – ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

– После этого буду свободен?

– После этого можете убираться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни, – а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда, – в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым, – непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм, – сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это – день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберется, и облако известковой пыли

кинулось ему в глаза, запылило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть, – низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на зад и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь содрогнулся от волнения, – корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

– Вы что это – обрились? – мрачно сказал Бурштейн. – Я сразу и не узнал, странно, странно...

– Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился, – пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб, – со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

– Гуляете?

– Знаете, погулять вышел.

– Странно, странно. Я вас только что видел, – вы против гостиницы сидели, терли глаза.

– Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

– Выньте руку из кармана! – И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко. – Так и есть, это мой браунинг.

– Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин, министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых

пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, вращал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выпросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, Пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова, – оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день, – третий

случай слабости. Нет, – в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

– Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо, – Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой – на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал, – это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович, – все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания – залиться горячими слезами. И он неумело заплакал.

На Перу блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсиновые корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Перу, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеклом себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Перу кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтающий о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Перу, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, растленные звуки оркестриков. Вся эта суета – высоко над морем, на Перу.

У подножия Перу – этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями – начинается Галата – узкие, грязные портовые кварталы. Это – подол Перу, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота – пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в

гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых – двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадется и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Перу, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же – зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, мало доходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке. Ишак Мамэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-

левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

– Русский, хочешь девочку из султанского гарема? – вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий, – ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» – и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию, – один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапливал

в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки», – вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас, – стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Перу в Стамбул через мост и из Стамбула в Перу, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты, – думал Семен Иванович, – жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще – цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

– Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик, – вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

– Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкачивал налитые красным вином глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место, – в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто, – возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

– Граф! – крикнул он, – это ты! – обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

– Торгую женщинами, – солидно ответил Семен Иванович.

– Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не ша-

тался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот – слепые окошечки с выставленными кальянами, – здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот размалеванная розами дверь, – здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами, – это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами, – покрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские

матросы, – они ходили стенкой, дружно, крушили чугунами кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

– Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

– Нет.

– Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо – благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» – цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли – до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, томно. Представь – двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

– Обокраден, избит, видишь – синяки.

– Жаль, – сказал Ртищев раздумчиво, – у меня план – снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

– Запрещено, я уже думал.

– Что ты говорить? Ну, а в «тридцать – сорок»?

– Запрещено.

– Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился – по желанию, когда угодно, повернет, и – «зеро». Он говорит, рулетка – золотое дно.

– Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина.

– Ну, хорошо, – все еще кричал он, – хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы, – больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил

входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половине изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой – Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках – колода карт. Ртищев был в восторге:

– Знаменитые художники меня писали. Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазилы несчастные, – самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это – портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат: «ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ».

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и – халвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор, – кричал он Невзорову, – девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку – сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

– Здесь – святая святых, – сказал Ртищев, – после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

– Если бы деньги, если бы деньги, – повторял Ртищев, –

весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

– Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

– В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню, – спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал, – не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало – не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платьишке, но завитая и нарумяненная, как кукла. Все было в порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке – что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули

в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками, – сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий, страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет, – счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

– Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали, – чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волюнку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

– Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но

девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

– Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заметались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к турбану, словно хватаясь за голову. Все же он закончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

– Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасти положение. Ртищев, выглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городской, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую кар-

точный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке, – точь-в-точь как портрет его на двери.

– Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надирать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

– Делайте вашу игру. Заметано, ребятишки! Четыре сбоку – ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшем от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык, – Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Большой грек Синопли сла-

бо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту, – уничтоженный, брошенный судьбою на дно, – он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды, – и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол бежал таракан.словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак», – и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

– Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

– Нашел. Это будет – гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

– Ты с ума сошел?

– Тараканьи бега. – Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов. – Этому оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

– Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного, – плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами – были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой – его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения беговой дорожки, то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

Народное русское развлечение

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, дерзка щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения – тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту – трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англича-

не разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

– Еще один заезд, – восклицал Ртищев, – самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит – номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Перу, и сонный Стамбул, и азиатские перелетки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что "только здесь единственные, *патентованные* бега с уравнильным весом насекомых, или *гандикан*".

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Перу. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе – малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фрака. Это ви-

дение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

– Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, аккурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел – не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Перу, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

– Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр, – сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет – одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее, – и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред – странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Пер-

вое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегам и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон, – вход только во фраках. В салоне – изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего – вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он – злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору, – вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни, – немного, правил десять. Но – сурово. Кто скажет слово «революция» – на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором*.

– Фу ты, черт! – даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе. – Неужели и *это* возможно?.. А почему мне и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан. – В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *_император Ибикус Первый_!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Перу, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посоль-

ства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве – женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбочку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву – душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу, – так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико – детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка, – если ее вымыть да обуть как следует, – *бижутери*...

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издалека, отечески добродушно...

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь – пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он – в Европе. Богат и знаменит. Перед ним разворачивается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович – бессмертный. Автор и так и этак старался, – нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам – Ибикус. Жилистый, двужилый, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и – садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он – король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я несколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон – со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами – он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: "Салон-ресторан с аттракционами –

Ибикус". Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, – поживем, увидим. Поставь точку...»